



Юрий Казарин
КАМЕНСКИЕ ЭЛЕГИИ
ИЗБОРНИК

Москва

2012

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Б29

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

*Руководитель проекта Вадим Месяц
Главный редактор серии Андрей Тавров*

Казарин Юрий

Б29 Каменские элегии. Изборник. — М. : Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2012. — 116 с. — (Поэтическая серия «Русского Гулливера»).

Юрий Викторович Казарин род. в 1955 в г. Екатеринбурге. Работал на Уралмашзаводе. Служил на Северном флоте. Окончил филологический факультет Уральского ун-та. Преподавал русский язык в Индии. Доктор филологических наук, профессор УрФУ. Автор ряда монографий, учебников и толково-идеографических словарей (в соавт.), а также нескольких книг стихотворений и прозы. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Сибирские огни», «Юность», «Октябрь», «Знамя», «Новый мир» и др., а также в Италии, Германии, Испании, Израиле, США и др. Живет и работает в Екатеринбурге. «Каменские элегии» включают в себя стихотворения (раздел «Из разных книг»: 1976–2003) и элегии (ранее издававшиеся и новые: 2003–2012), написанные в д.Каменка на р.Чусовой, которые, на взгляд «Русского Гулливера», являются одной из вершин русской лирической поэзии последних десятилетий.

ISBN 978-5-91627-091-4

© Ю. Казарин, 2012
© Русский Гулливер, 2012
© Центр современной литературы, 2012

«Каменские элегии» – некий абсолютный метафизический «запредел» – страшный и благостный одновременно, когда емкость, плотность, густота поэтического образа оборачивается такой разряженностью интонации, «голосового воздуха», что при чтении (я бы даже сказал – при вдыхании текста) буквально перехватывает горло. Проще говоря, в «Элегиях» мы сталкиваемся с чистым «веществом поэзии», с таинственной и чудесной ее субстанцией – отфильтрованной от всего поверхностного, наносного, тленного.

Константин Комаров (журнал «Урал»)

Стоицизм, с которым этот поэт встает вплотную к тому, от чего поэзией обычно защищаются, восхищает. Поэтический дар здесь – не щит Ахилла, но микро- и телескоп для беспрецедентного исследования, по ходу которого выдаются теоремы с доказательствами всего сущего и кажущегося, а то и с неожиданными обнаружениями...

Анна Кузнецова (журнал «Арион»)

Мир «Каменских элегий» – мир «ужаса красоты», мир Вальсингама, стоящего у «самой бездны на краю», мир «бездны воздуха».

Татьяна Снигирева (из книги о Ю. Казарине)

Стихотворения Юрия Казарина не современны. Ошеломляющая видимость внутреннего при известной простоте (даже однообразии) его поэтического языка – это и его заслуга, и его одиночество. Точно так «наивная» икона, писанная румынским богомазом на стекле, утверждает в нас большую глубину, чем бесконечные мадонны классического искусства.

Владимир Титов (журнал «Сибирские огни»)

Утверждаю со всей ответственностью: Юрий Казарин есть Большой Поэт. Даже странно: такого уровня работы должны звучать во всем ареале русской поэзии, а знаем их главным образом мы, литературные люди на Среднем Урале. Может быть, такой изворот судьбы не случаен. Может быть, поэзия Казарина испытывается молчанием, отлеживается про запас, чтобы потом оказаться востребованной – потом, когда без таких стихов, устанавливающих связи между коренными категориями человеческого бытия, станет уже невозможно жить и дышать.

Ольга Славникова (писатель)

Поэзия Казарина, в сущности, созерцательная, и казаринская мощная, порой мрачноватая энергия вернее всего воплощается в жадности слуха и зрения, в ярости узнавания, то есть поименования, в неистовстве метафор, ибо метафора – всегда мост в самом неожиданном месте.

Майя Никулина (поэт)

6

Стихи Казарина отверзают перед тобой такие пустотности бытия, которые невозможно наполнить и в которых, очевидно, живет лишь сам Бог. Постоянный спутник и собеседник поэта. Мир, который открывается стихами Казарина, это мир природы и погоды, языка и речи, человека и красоты, от которой перехватывает горло.

Елена Созина (профессор, Уральский университет)

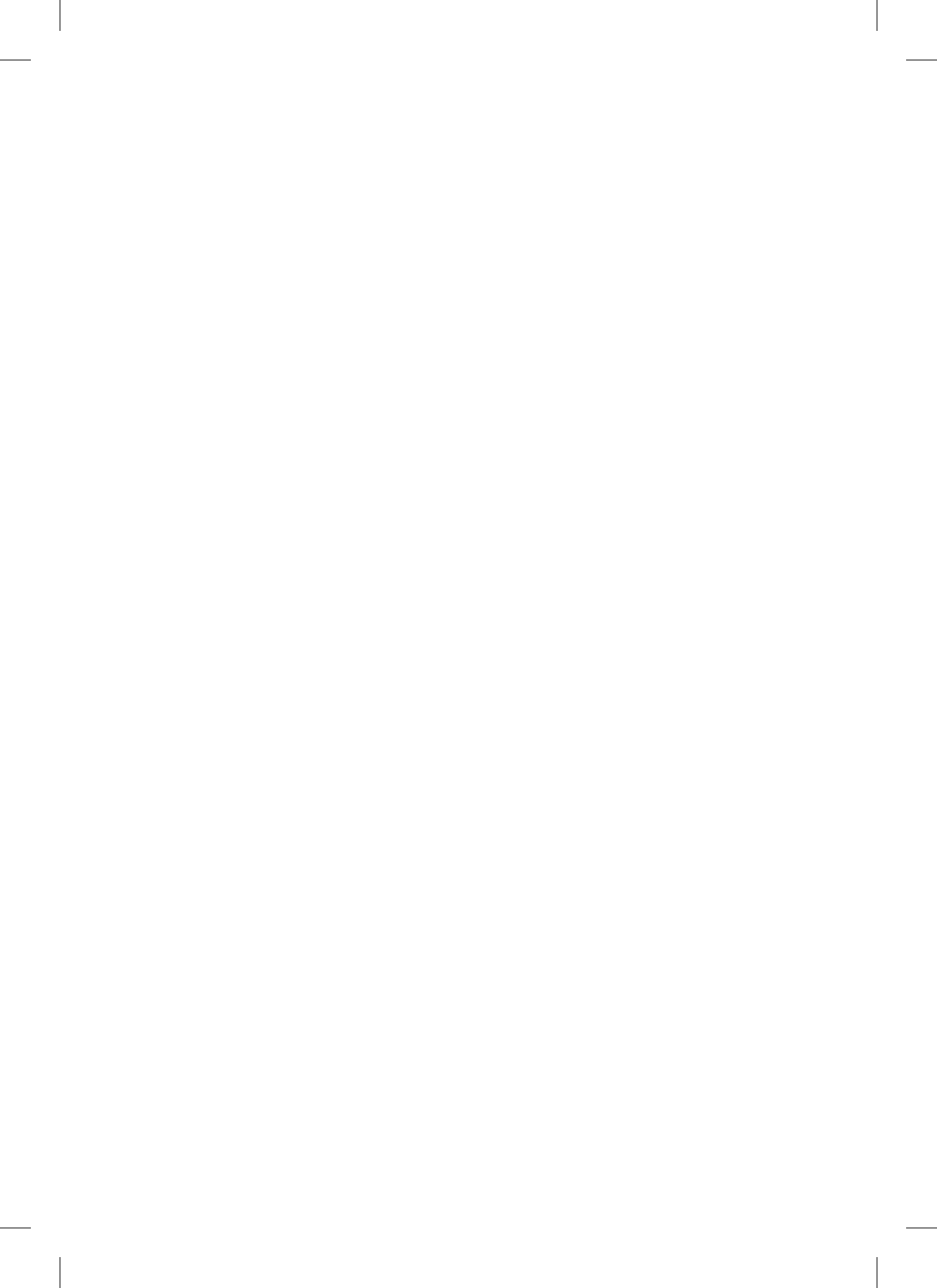
Читать стихи Юрия Казарина, замечательного русского поэта, живущего в Екатеринбурге, – труд, и возможно, не легчайший чем сочинять их. Зато и результат уникален и ценен. Отношение вещного мира с языком в этих стихах – кровно родственные, и подобно кровно родственному у человека – попеременно, а то и одновременно, сладостны и взаимно мучительны.

Аркадий Застырец (поэт)

Читая «Каменские элегии» Юрия Казарина, я вспоминал о том, что оставление родных мест у славян было серьезным грехом, заслуживающим чуть ли не смертной кары, и, хотя в наше расслабленное время обывай кажется чрезмерностью, он по-прежнему имеет смысл. Ты обретаешь право заповедного и властного голоса, если стоишь на земле, в которой лежат кости твоих предков. Иначе – ты проходимец, случайный человек, лишенный ответственности и не заслуживающий внимания. Казарин соблазнам рассеяния не предался, поисками лучшей доли пренебрег, оставшись

у «отеческих гробов», справедливо полагая, что отсюда он имеет право говорить «с последней прямой». Он выбрал свой «азиатский дом с воротами в Европу и огород с простором на Сибирь», деревню Каменку, равную России и всему космосу. Именно отсюда он воссоздает пространство, которое всем знакомо и о котором все тоскуют: несбывшееся детство, несбытую страну, которая уже не время и не место, а – часть человека, часто – неощутимая и недостижимая часть. У Казарина эта страна большая, такая большая, что не поспоришь. У него «глаза от России болят» – не потому, что смотреть больно, а потому, что смотреть много. Еще больше он говорит о другой стране – Небесной, воспринятой им через глину, снег, опавшие листья, через земные предметы жизни. «Я земля, я из глины весь, я давно похоронен здесь». Поэзия – приурочивание к иному существованию, подготовка души к освобождению – и в этой метафизической работе Казарину нет равных – здесь неважно в насколько «созвучной среде» звучит твое слово, поскольку оно будет неминуемо услышано теми, кто тоже пытается осмыслить свою жизнь, ищет ответы на общие бытийные вопросы. Фигура Юрия Казарина на фоне уходящих в забвение «новаторов» и перестроечных назначенцев от поэзии смотрится все монументальней и четче, а его имя со спокойной уверенностью обретает место в нашей культуре.

Вадим Месяц ("Русский Гулливер")



1. Из первой книги



* * *

Ворохнётся в окне ветка.
Я бываю с тобой редко
на земле. Чаще в дереве, в небе
я брожу, позабыв о хлебе,
о себе, о погоде, или
пропадаю в речном иле,
сквозь высокую воду пройдя
без дождя.
Потеряю в паденье лицо, руки,
стану частью твоей округи,
на окне твоём отпечатки
пальцев выставлю в Рождество:
тополь в инее, как в перчатке,
если палкой не бить его...

* * *

Неба всё больше, мало
суши осталось, тверди.
Жизнь наконец совпала
с тем, что коснется смерти.

Снег и земля друг другу —
в лоб, в мозжечок метели:
кажется, что по кругу,
в сердце — на самом деле.

Все-таки скорость взгляда —
это не скорость птицы,
а намерзанье сада
на острие ресницы.

Медленный взгляд оттуда,
где умирают звуки,
где происходит чудо
прямо из этой муки.

* * *

Е.

На читку воздуха едва ли
мне хватит этих смертных уст:
откроешь фолиант рояля —
он пыльной музыкою пуст.

Он как раскрытое жилище,
чердак, где плакала метла,
как снегопад и пепелище,
не выгоревшее дотла.

Как дом, не купленный в деревне,
где ночью рвутся провода
с душой, готовой к перемене
не мест, а места навсегда.

12

* * *

В пепельнице окурочек,
в небе кусочек луны.
Тысячу слов, придурочек,
вытянешь из стены.

Спи, говорю, покуда
счастья на свете нет:
значит, иное чудо
мучает этот свет.

* * *

Л. К.

Отвернувшись к стене,
чтобы прямо сказать стране:
ненавижу тебя, но не
умирай, оставайся во мне,
словно небо, растущее вне
понимания неба; в вине
не тони, не куражься в огне
стужи, ужаса и, к стене,
но с другой стороны — в окне —
отвернувшись, прижмись ко мне.

* * *

В. Б.

Глазам хватает неба и земли:
посмотришь вдаль — и плачешь там, в дали.
Прошли по берегу коровы,
оставив в пестрой наготе
себя гравюрой на воде:
вода из неба гнет подковы
для первых заморозков, где
опавших волн сухая лепка
уже идет секунды три,
и пахнет снег, как божья кепка,
наверно, пахнет изнутри.

* * *

Утки летят на восток,
изображая кусок
времени, наискосок
от бесконечного света,
озера, ока, поэта,
выстрелившего из лета
осени в правый висок.

Уток, наверно, с пяток,
а присмотреться — четыре
выгнулись, как локоток

музы, которая в срок
держит последний урок
на леденеющей лире...

14

* * *

Дурачок, дурачок,
отпусти домой зрачок
с неба семидонного,
людям похоронного,
или неба сродного,
для любви пригодного,
неба золотого,
как большое слово
с буковкой бу-бу,
с молнией во лбу
да с душой-обузой,
с птичкой белопузой —
ласточка пять раз
поцелует глаз,
ясный, бестолковый,
к темноте готовый,
коли белый свет
съели на обед...

* * *

Сухая гроза — что в завязке алкаш.
С утра обезвожены поры позора.
Рыданье подробно, как горный пейзаж,
увязший в кириллице, где карандаш,
себя истирая в леса и озера,
иную грозу помещает в шалаш
на вечную вязку то мысли, то взора —
в безумие неба, в морщины узора
и в глухонемое мычание хора,
когда за слезу все на свете отдашь.

* * *

Птицы — в прошлое, в лето, на юг,
а листва, отбиваясь от рук
и ветвей, на единственный круг
отрывается перед ночлегом
между голой землею и снегом.

В легком солнце замешкался дрозд —
взятки глаз ослепительно гладки,
и дыханья шальные лошадки
распускают по воздуху хвост.
По ночам выпадают осадки
в виде звезд...

* * *

Деревня дымом в смерть захала,
где, снежный хлебушек кроша,
мерцает бездна, словно зеркало,
когда в него глядит душа.

Где иней звезд ерошит брови,
в глазах закрытых карта крови
во тьме с небесной совпадет —
никто сегодня не умрет...

Никто сегодня не умрет.

* * *

О, Господи, не умирай
своих животных и растений
и не вперяй без потрясений
тяжёлый, нежный ад осенний
в мерцающий и мёртвый рай.

* * *

Чтобы вырезать дудку из ветки в лесу,
нужен мальчик-заика и ножик,
и река, и чтоб небо щипало в носу,
и пыхтел под рябинами ёжик.

Скоро дождик равнине вернёт высоту,
в одуванчике высохнет ватка.

После ивовой дудочки горько во рту,
после ивовой музыки сладко.

* * *

Уже зима вбивает в землю гвозди
и сердце из небесной полыньи
вздымает, как рябиновые грозди
над пустотой. О, ягоды мои!..

Жемчужный лед растёт с ветвей — без створок,
бесстыжий свой показывая стыд.
Мне снится море. И оно шумит
в моей земле, где ночь и минус сорок.

И Млечный путь себя сгущает в твóрог,
или в творóг, как Иов говорит.

* * *

Взгляд остановлен птицей.
Господи, стрекоза...
Небо кольнёшь ресницей —
Что это? Чья слеза?

Вечность — простое чудо:
видишь меня, вода?
Скоро и мы оттуда
будем смотреть сюда.

* * *

Сорока на столбе.
Ну что ещё тебе
сказать, когда в окошко
смотрю: вот куст, вот кошка.
Как время вдоль воды
то пятится, то длится.
Вот человек, вот птица
и на воде следы.
И, как заведено,
скользит с небес пшено
по лунному осколку
из рук — из первых, но
невидимых, поскольку
кончается окно.

* * *

У куницы
короткие ресницы,
как у кошки,
а еще блошки,
чтобы почесать
укушенное место, а потом, мать
твою за лапку,
взяв себя в охапку —
спать
и в себе свои сны обнимать:
сломанную охотничью лыжу,
на реке ледяную грыжу —
прорубь, над рекою крышу
прозрачную — видно рыбку,
она держит себя, как скрипку,
упирается в глубину,
исполняя во сне улыбку
и крещенскую тишину.

19

* * *

Деревня пустила
белые корни в небо.
Знать, замесила
квашню для стряпни и хлеба.
Принюхивается небо
стужей, звездой железной
к жизни над бездной...

* * *

Проснёшься ночью — света нет
и не было его,
как будто это новый свет,
иное вещество.
Всё исковеркано ледком —
красивое зато,
как будто кто-то босиком
ходил. Я знаю, кто...

* * *

Почти отмучившись, отмучив
ночь, косоглазую от слез,
проснись и вспомню: снился Тютчев,
и — сажа белая берез.

Тряхнет скворец, с бесстрастным глазом,
плечистым пушкинским плащом:
кто долгим прошлым был наказан,
тот будет будущим прощен.

Душа отбрасывает тело,
как дым отбрасывает тень
между луной и светом белым
в его смертельную сирень.

* * *

Земное притяжение с ума
меня сведет, наверно, после жизни,
когда в слезах закончится зима
в моей теплеющей отчизне.

Ты топишь печь и плачешь. И нигде
не находясь, я вижу, как со стоном
осина разгорается в дожде,
пылая в зеркале оконном.

* * *

Ты легко поднимешь руку
на прощанье, чтоб рассечь
мир на полную разлуку
и на внутреннюю речь.

Беспризорник бьет небольно
в створ небесного окна,
и звенит в мяче футбольном
ангельская тишина.

И опущенную руку
дождевая ищет нить,
чтобы музыку и муку
навсегда соединить.

* * *

Собака плавает в пруду.
Я что-то спички не найду.

Вот сигареты, пальцы, губы,
вот берег, лес, плотина, срубы,
вот неба с ласточкой торец,
и с черной удочкой отец

стоит над прудом и в пруду
не отражается, покуда
плывет собака ниоткуда.
А спички — вот, и это — чудо
в две тысячи восьмом году.

22

* * *

Поговоришь с водой,
вернее — помолчишь.
И черно-золотой
качается камыш.

И черно-золотой,
как божьи брови, шмель
под страшной высотой
несет виолончель.

* * *

Режет глаза в окошке —
это распустится
то ли цветок картошки,
то ли капустаница.

Бабочка оживает,
распространяясь в ряд,
мечется, пришивает
к воздуху влажный взгляд.

Все на живую нитку
сшито — не перешить...

Высмотреть эту пытку.
Выплакать эту нить.

* * *

Как долго лошадь пьёт из лужи:
сначала ноздри, очи, уши
свои, потом кусок небес
и в кромку врезавшийся лес.

И дождь идёт, у нас бывает —
он лупит вкось по пузырям,
и лужа ноздри раздувает
навстречу розовым ноздрям.

Целуйтесь, два лица природы, —
и жажда жизни и любовь,
пока несут над бездной своды
вода и кровь, вода и кровь.

* * *

Уши, особенно мочки,
мерзнут сегодня с утра.
Мертвая бабочка в бочке.
Осень, однако. Пора.

Думаешь странные строчки —
Боже, какого рожна:
мертвая бабочка в бочке —
может, живая она...

* * *

Трава сказала — умираю,
и в ледяном её аду
я босиком иду к сараю —
как по стеклу в стекло иду.

Похолодало — все прошло.
Какое счастье жить без чуда.

Какая русская простуда.
Какое мягкое стекло.

* * *

А смерть осиной
не отдаёт —
сугроб гусиный
сюда плывёт.

С другого берега
по синеве,
хотя до снега
недели две.

Идёт, гогочет
мужичья сыть —
о Риме хочет
поговорить.

Подашь ли голос
по-над водой —
летит, как волос
совсем седой...

25

* * *

В воду врастают ноги
женщин, овец, берёз.
Слепнут лесные боги
от деревянных слёз.

От оловянных, снежных,
от алюминиевых.
Сколько их было, нежных?
Сколько осталось их?

Чьи это листья, вещи,
наволочка, ночлег?
Это ложится вещей
с неба упавший снег.

* * *

Волынки плач овцы. Грамматика двойная.
И ангелов нитьё и визготня.
Стоять, стоять, очей из тьмы не вынимая,
ступнями отбиваясь от огня.

Волынки детский плач. Печаль полуная.
Двухспальная железная кровать.
Лететь, лететь, крыло в чернила окуная,
и — белое — из бездны вырывать.

* * *

Всё больше интонации, тумана,
всё меньше слов, как осенью — вдвоём,
как этот подстаканник без стакана:
уже понятен времени объём.

Где виден лес, там в озере прореха —
вернее, в небе, в пазухе его,
где осень остывает, словно эхо
грядущего молчанья твоего.

* * *

Шёпотом дождь поёт. Значит, вот-вот зурна
вступит и замолчит. Кукла больна. Она

смотрит не из себя, а из земли сквозь нас
в бездну, и вновь в себя — не закрывая глаз.

Пухом земля — земле. Снегом земля — душе.
Хлеб с золотой ноздрей весь отражён в ноже.

Осень сошла с ума. Осень сошла с ума.
Осень сошла с ума. Значит, уже зима.

* * *

Снег в форме машины едет издалека,
снег в форме деревьев лесом стоит, пока
снег в форме мужчины ищет в толпе огня
и пролетает мимо в форме тебя, меня,
города и деревни, ветра в моей глуши
белого — в форме снега — шире живой души, —
и переходит в поле, где его из-под век
бездны не проморгает плачущий человек.

* * *

Ты откуда, сигаретный,
коли губы на замок,
мимолётный, неконкретный,
умирающий дымок?
Только ангел в чистом поле
жадно курит разве что
от чужой сердечной боли
в голубой рукав пальто...

* * *

Поздняя осень. В пейзаже,
кажется, больше золы,
чем чернозёма и сажу,
если не трогать углы.

Снегом твоим пролетая,
вижу в прореху крыла:
кончилась нить золотая —
белая нитка пошла.

* * *

Упираясь лбом в звезду,
чувствую, как тесно Богу.

В валенках на босу ногу
ночью выйду на дорогу
и уйду...

* * *

Ты знаешь изначально —
чем глубже, тем больней:
не истина печальна,
а приближенье к ней.

Не бабочек-снежинок
междоусобный дым,
а зренья поединок
с безумием твоим.

29

* * *

Ангелы легче снега,
это с утра бывает.
Валенок, павший с неба,
в воздухе застревает.
В воздухе над державой —
падает понемногу.
С левой, а может, с правой —
он на любую ногу.
Не на мою, на волчью.
Взвою — и снег раздую,
чтобы увидеть ночью
пяточку золотую.

* * *

Пуговицу смахнуло
время с моей рубахи:
что-то её катнуло
с воротника. Как с плахи.

Помнишь ли, переспелая,
пальцы мои и тело
тёплое. Помнишь, белая?
Белая — пожелтела...

Горлу теперь вольготней
воздуха ждать иного
там, где в слюне господней
звук вызревает в слово.

30

* * *

У кукушки всего одно слово,
в котором два одинаковых слога:
один для мёртвого, другой для живого,
а интервал для Бога.

С крыши дождь опускает свёрла.
Два слога. Прореха. Два слога. Прореха. Прореха. Прореха.
Кукушка сама себе горло.
Кукушка сама себе эхо.

Осень. Льёт. Не отыщешь сушу.
Слёз не видно. Читай Басё.
Если захочешь увидеть душу —
просто выдохни. Вот и всё.

* * *

Что наши мысли? — бред природы,
когда она людьми больна.
Взыскует разум мой свободы,
а мысль — ничтожна и темна.

И бездна ближе в непогоды,
и небо плачет без конца.
И по воде проходят воды
как призрак призрака Творца.

* * *

Воробьи склевали пайку.
Слава богу, я никто.
Поменяю на фуфайку
и перчатки, и пальто.
На фуфайку-невидимку,
чтобы с воздухом в обнимку —
только воздух и никто.

Над обрывом у реки
без смычка услышу чайку.
Словно ангел сквозь фуфайку
веет снегом в позвонки.
У обрыва. У реки.

* * *

От неба, и огня, и от воды глубокой
очей не отвести с присушенной слезой.
Болит лицо земли, поросшее осокой
по циркулю с кержацкою косой.

Нет на воде лица. Волна. На ней лица нет:
так смотрит с высоты и давит, боже мой,
окрестный взгляд без глаз — и он не перестанет
быть светом или тьмой. Быть светом или тьмой.

Грядущее — с небес, забытое — из хлябей
вычитывать, читать. Из гоголевских стуж
и зноев расплести огонь, как волос бабий,
до чёрного листа сгоревших «Мёртвых душ».

Очнуться. Умереть. И долго ждать ответа:
кончается ли смерть? — Кончается. Она
не дума и не дым, а остановка света —
прозрачного до аспидного дна.

И, умерев, взойти в утраченное время,
земной короткий век перезабыть спеша,
и знать, что наяву не ястреб и не темя
упрётся прямо в бездну — а душа.

Не пустотою стать, а новой частью взгляда
окружного, когда всё видится, когда
не слёзы принимают форму ада,
а время — форму пламени и льда.

2. Из второй книги



* * *

Сколько времени там на весле,
капли две — это горькое чудо:
не успеешь привыкнуть к земле,
как пора закругляться. Отсюда
улетать, потому что зима,
убывать, зависая над телом,
в чем-то белом, наверное, белом
или черном, как вечность сама.
Или в чем-то прозрачном, в чем, ах,
нас выносит в небесную дырку.
И — соленые ленты в зубах,
чтобы не потерять бескозырку.

* * *

Пахнет ладонь сосной.
Кто-то умрет весной, —
чуют иные глины
бездной без сердцевины.
В бездне полно тепла —
вот она подошла
к окнам твоим вплотную,
песню поет блатную,
что не умрет никто,
так что снимай пальто
и облачайся в ватник.
В небе уже стервятник
к небу стоит спиной —
думает, что сосной
пахнут пила и руки
у мужика, в разлуке
с городом и страной.

* * *

Кто-то в печной трубе
делает на губе,
локоть вонзив в колено,
траурного Шопена.

Сажа не горяча,
не горячей плеча —
теплится еле-еле,
но поперёк метели.

Музыка вверх пошла,
сажа её бела,
и не болит колено
у печника Шопена.

* * *

Меж безднами двумя
то лодка, то ресница
качается, стоймя
стоит себе — и длится...

Утешь меня, утешь,
глагол, своим недугом —
своим зияньем меж
значением и звуком.

* * *

Запомнишь ли — не мысль, не звук,
не губ гончарную работу,
а исчезающую вдруг
земную ноту.

Чтоб там, где смерть и рождество
ещё в одном — в одном сосуде,
собой расширить вещество,
мерцающее в каждом чуде.

И времени знакомый хруст
не помешает за плечами
услышать полное молчанье
из первых уст.

* * *

Кто-то спросил: — Ну, как? —
ночью в пустом доме.
Я говорю: — Никак, —
этому никому.

Поздно. Я спать пошёл.
Просто оставлю свет.
И положу на стол
парочку сигарет.

* * *

Переведи меня
с дождя на детский лепет
усилием огня,
душа, сомненье, трепет, —

коль свет на том — другой,
чем свет на этом свете:
не вольтовой дугой
он порожден, а дети
его, во сне взлетев,
вынашивают в синий —
мышлением дерев —
в невероятный иней,
иной в конце концов:
так речь врезает в строфы
и мысли мертвецов,
и голоса голгофы.

* * *

Дождик чует наготу
женщин, улиц и растений,
словно гений, просто гений,
пишет воду на мосту:
пишет, над теченьем стоя,
пишет время золотое
так, что течь невмоготу.

* * *

Плачет коза, поднимаясь в горку.
Кто-то затеял в лесу уборку.
Осень. В отхожее сыплют хлорку,
чтобы осело. Курю махорку.
Вот на окошке заело шторку.
Стало светлее. Пусть будет так.
Это, наверно, хороший знак:
коршун выписывает восьмёрку...

* * *

Е.

Ходит музыка по коже.
Серебрится вдоль дорог
что-то медленное. Боже
мой, я тоже одинок.

Ничего. Я умираю.
И, с закушенной губой,
непогода пахнет с краю
азиатского — тобой.

Ты без музыки танцуешь,
смотришь небу прямо в рот.
Трижды воздух поцелуешь —
и собака подойдёт.

* * *

Е.

Эта собака не для езды.
Имя собаки — имя звезды.

Имя собаки — имя цветка
цвета любви и её языка:

Словно от зноя зевнула земля.
Или собака. Собака моя.

Имя собаки — выдох и вдох.
Отчество — Бог.

* * *

Позолоченная стружка.
Ветром выструганный лес.
Заведёт земная вьюшка
злую вытяжку небес.

Чёрный дрозд летит по краю
неба, белого вдали.
Отвыкаю, отвыкаю,
отвыкаю от земли.

* * *

А. Решетову

Эти пальцы, веки эти
онемели в Рождество.
Нет на том, соседнем, свете —
кроме снега — ничего.

Помнят ли при тёмном свете,
как зима вползает в лес, —
птицы, ангелы и дети...
Население небес.

* * *

Медленно, медленно ваза,
выпав из левого глаза,
бьётся. На звук и на свет
вся распадается. Нет,
и на цветы, и на воду,
на пустоту и свободу
полного небытия...

Вечная ваза моя.

* * *

Е.

Что-то ещё я хотел... Никак.
Впрочем, уже не важно.
Знаешь, душа возмужала так,
что умирать не страшно.

Стужа слепила пяток ресниц
в свет, в ледяную ржавость,
чтоб не забыть перезябших птиц,
чтобы слеза держалась.

* * *

М. Никулиной

Зима в деревне холоднее:
в сугробах бездна, леденя,
сухим огнём отражена.
Какая близкая она.
Живу в деревне — прямо в небе,
о боге думаю, о хлебе.
И ангелы средь бела дня
с рябины смотрят на меня.

* * *

Дождю со снегом

Мороз проникаем и розов,
но горек расплывчатый вид,
где призрак семи паровозов
дымит в деревеньке, дымит.

И некому утром приехать,
и дров остаётся в обрез,
чтоб выдуть алмазную перхоть
из оцепеневших небес.

И водку ласкают селяне,
и стужей душа восстаёт,
когда переходит сиянье
в зияние снежных высот.

И зябнет у жизни запястье —
до смерти: в канун Рождества
сшибаются страшные части
божественного вещества.

И смерть наполняет значеньем
всё, что не уносит с собой:
то музыку точит мученьем,
то бред возвышает мольбой.

Чтоб выйти из сердца, когда
в своём одиночестве тёмном
иголками сыплет вода
в сосуде мороза огромном.

И космос сжимается в дом
узлами сосны: спозаранку
он вывернет снег наизнанку —
и трогает прорубь ведром...

За богом случается бог,
он тоже не может без бога.
И неба хватает на вдох
и даже на выдох немного.

* * *

Е.

В морозы горький свет: в деревне пахнет дымом,
и на веранде пыль алмазная, когда
вдруг разорвёт бутыль, а воздух невредимым
останется стоять, как в проруби вода.

Без бабочки твой взгляд слоится и порхает —
повсюду снегопад, паденье и полёт.
Но время — это свет, и он тебя вдыхает.
Но вечность — это тьма: она тебя умрёт.

Тесня звезду зрачком, поймёшь в краю убогом:
что, именем своим, пройдя сквозь языки,
Бог остаётся быть двенадцатым богом,
вдувающим озноб в живые позвонки.

44

И варежку прожжёт алмазная присыпка,
и валенок уйдёт в замёрзший материк.
Когда шагаешь, снег кричит — ещё не скрипка,
и даже на бегу звучит — уже не крик.

На окнах, на садах — повсюду белый дёготь, —
любовь моя слепец, любовь моя беглец:
ей только обнимать, искать, ласкать и трогать,
и очи закрывать всему, что не слепец.

С фонариком луна и ангел с сигаретой,
как вспыхивает спирт — вот так глядит мороз
и плещет голубым, на кровле непрогретой
наращивая соль земли, морей и слёз.

Твоя звезда — с кулак, и тоже пахнет солью,
как кровь твоя, в тебе нашедшая тупик.
Душа хотела стать звездой, а стала болью,
в которую вошла, как музыка в язык.

* * *

Погладил печь — спадает жар.
Я глину мял и плакал ночью,
и на плечах всю ночь держал
округу волчью.

Распеленай меня. Темно
под коркой глины, льда и хлеба
тому, что делает окно
необходимой частью неба.

* * *

В полуслезях, в полубреду
с подземной музыкой иду
к другой — неслыханной, небесной —
оборонять свою беду
и слушать ангелов во льду...

Мне хорошо в твоём аду
молчать над бездной.

* * *

Из цикла «Елене»

I.

Убивал. Великолепил.
Забывал. Кричал во сне.
Твои губы сжаты в пепел —
в сердце, сжатое во мне.

Прозреваю. Вырываю
взгляд из глаза своего,
чтоб обуглилось по краю
нашей жизни вещество.

Чтобы жгло окно в конверте
белом, снежном, голубом.
Что мне делать после смерти,
к чьей руке прижаться лбом...

В недочитанном романе
два забытых мертвеца:
я и ты — в чужом тумане,
снящаяся без лица.

II.

Ищу тебя. Иду по краю,
где льёт луна, где льёт левша.
Левее — к сердцу. Пропадаю.
Сначала тень. Потом душа.

Во мне зима. Она сквозная.
И я везде. К чему спешить.
Как будто умер я, не зная,
как эту вечность пережить.

VII.

Курю в больничном туалете,
тайком, почти на этом свете,
где лампочка из-за угла
беднее зимнего тепла,
где мёртвые ладошки моли,
черпнувшие чрезмерной боли,
навстречу машут дураку
и сыпят пепел на башку...

VIII.

Ангел плюнет в потолок —
ох, больничный, ох, высокий.
Недолёт. И мотылёк
опадает одинокий,
белый, серый, голубой,
даже палевый немножко...

47

И глядит, глядит в окошко
жизнь с закушенной губой.

IX.

Мышка больничная, жизнью шурша,
ищет пожрать. Зачесалась душа
у тишины, темноты, немоты,
шторок, прикрывших квадратные рты,
чтобы беззвучно крича, не испугнуть
смерти немного и хлеба чуть-чуть,
капельку света откуда-нибудь...

Ангелу ночью очей не сомкнуть.

XI.

Когда я умер, стало мне
понятно всё: в каком огне,
во сне, в окне, в каком бреду
куда я, Господи, иду.

Когда я умер, ты прошла
тропую пекла и тепла
по мне, по мне, по мне, по мне,
по мне — во сне, в окне, в огне...

XIV.

Прощай. Что было — не прошло.
И не продёт. И вечно будет.
Оно тебя ещё разбудит
и в окнах выставит стекло,
и поползут из крупных слёз
ночных светил дневные лица...

Обыкновенный снег ложится
на деревянный снег берёз.

3. Из третьей книги



* * *

Я знаю эту дрожь.
Очей не закрывая —
и ты, земля, умрёшь,
бессмертная, живая.
И сквозь твои персты
пройдут пески и воды,
и небо пустоты,
и небо непогоды,
последняя слеза
без боли и печали,
которую глаза,
как мир, не удержали.

* * *

Е.

51

Где-то глаза кочуют,
думаю, в вышине.
Ангелы в нас ночуют,
прямо в хорошем сне.

Спи, говорю, родная,
очи закрой — и спи,
медленно поднимая
солнце в чужой степи.

* * *

Е.

Где очень больно, там светло,
а здесь темно и не бывало.
Я спал и думал: всё прошло,
а оказалось — всё пропало.

Удушье снов, удушье слёз —
до немоты и полной муки
произносить большой мороз
и в нем клубящиеся звуки.

У этой музыки твои
зрачки сиреневые... Боже,
и ледяные соловьи
без оперения и кожи...

52

* * *

В стену горох, в стену горох,
ливень в последней своей прямизне.
Это не птица защёлкала — бог
заговорил во сне.

Трогаю капли, на пальцах коплю,
складываю в ладонь.
Всё, что люблю, всё, что люблю, —
это вода и огонь.

* * *

Е.

Стукнет с небес дубинка
в бочку. И — боже мой —
сохнет твоя рябинка,
брошенная тобой.

Не с высоты полёта
ангела, а с земли
видно: твоя работа,
след от твоей петли.

Ливень оплетью длинной
вытянет месяц май.

Ночь просижу с рябиной:
только не умирай...

53

* * *

М. Никулиной

Сад напросился в дом.
Веткой открыл окно.
Что ж, посидим вдвоём,
выпьём своё вино.
Выпьём его до дна,
и — лепесток на дно:
бездна у нас одна.
Сердце у нас одно.

* * *

К вечеру, пустившему слону,
к вечности, успевшей удлиниться,
звери, насекомые и птицы
полную включили тишину.

Это голос Бога? — Ни гу-гу.
Или спичкой чиркнула цикада?

Хочешь, я прошу и помогу? —
Господи, не уходи из сада.

Помолюсь за Бога моего,
чтоб не плакал — вечный, одинокий...

Голос у него такой высокий,
что не слышно голоса его.

Тесно в сердце сыну и отцу —
пусть они додумают родное,
чтобы постоять лицом к лицу,
упираясь в зеркало двойное.

* * *

Всюду Господа белые брови,
одуванчики и облака.
И разрывы растительной крови
в коронарных сосудах цветка.
И течение общего взгляда
с натяжением неба в реке.
Задыхаюсь. Не надо. Не надо —
сердце держит себя в кулаке,
словно главную розу, от сада
отсеченную кем-то...

* * *

Е.

Ходит шатун-трава.
Может быть, голова
кружится у земли —
яблони налегли
на вертикаль господню.

День-то какой сегодня?
Вторник. Сосед просох...
Чертополох. Подсолнух.
Ужас в глазах бессонных:
кто из них больше бог?..

Ясно, чертополох.

* * *

55

Плачет кулик, плачет кулик,
топчет водицу.
Я забываю русский язык —
слушаю птицу.

Холодно как. Слишком светло.
Баба в футболке
ковшиком в кадке разбила стекло —
в горле осколки.

Плачет кулик, плачет кулик,
топчет водицу.
Я забываю русский язык —
слушаю птицу.

* * *

Птичка серая скажет мне:
остаёшься в своей стране —
белой, каменной, ледяной...

Полетели на юг со мной.

Отвечаю сквозь первый снег:
я не ангел — я человек,
я — земля, я из глины весь...

Я давно похоронен здесь.

* * *

Так пасмурно, что нету небосклона
и некуда мечтать.
Вот лобачевская ворона:
пропала, появилась и опять
исчезла, и внезапно показалась —
и с глаз долой средь бела дня,
как будто вся во времени осталась...

Как мало времени осталось у меня.

* * *

Нежнее иная в зверином ухе,
сосков малиновых на сучьем брюхе —
не имя, а снежинки костный хруст
от дуновенья Бога; Божьих уст
взыскуют твёрдые уста сибирской стужи,
звезды полярной зрак становится всё уже,
всё глубже вдох, всё ближе к Богу Бог,
и в хрусталях — мертвец чертополох;
али репейник сам себя сосёт —
сосульку сладкую — и не произнесёт
никак своё большое имя смерти,
не чуя сквозь сугроб чугунной тверди.

* * *

Маленький человек,
мальчик — щека в песке:
глина у нас, как снег,
тает сама в руке.

Если тебе не лень —
вылепи воробья...

Ангел отбросил тень —
Господи, это я.

* * *

С.

Буду водой стоять
к дамбе лицом — и течь
в шлюзы за пядью пядь,
так распыляясь в речь,
так испаряясь весь,
чтоб Иисус босой,
если вернётся, здесь
ноги омыл росой.

* * *

Е.

Ты в воду посмотришь — потом из воды:
твой взгляд голубые оставит следы
на небе, водой отражённом,
на небе, травой окружённом.

Ты в воду смотрела, как смотрят в неё,
взыскуя грядущего. Это питьё
осталось на пальцах от Бога —
немного, ты знаешь, немного.

Ты трогала каплю — не узел, а связь —
куда она делась, откуда взялась —
и дула на воду, сквозь слёзы смеясь,
и дула, как после ожога.

* * *

Живой и мёртвый, с вечностью во рту,
где прямо с неба оды пьёт Гораций,
где зренье продувает пустоту
до обморока, до галлюцинаций, —
живой и мёртвый, здесь я говорю
о том, что я ещё с тобой побуду, —
так говорю земле и снегирю,
а значит — ангелу и чуду.

* * *

Е. Шароновой

Под крышкой пусто. Нет, под нею
подвал и пыль похмельных дней.
Пустой кувшин поёт сильнее,
и заунывней, и страшней.

Пока вино бредёт оттуда,
где дремлет жизнь, издалека,
и проливается, как чудо,
из красной пасти черпака.

И чем полней, тем глубже, глуше
звучит кувшин в конце концов,
как неприкаянные души
одетых в глину мертвецов.

* * *

С.

Зимы короткий век —
светло, тепло и зябко.
И шмякается снег
с ветвей, как на пол тряпка.

Как пить сугробу дать —
погода золотая.
Упало капель пять
с навеса. И шестая.

И тот, кому не лень
считать, он знает что-то,
что удлиняет тень
до бездны поворота

дороги...

* * *

Есть нитка золотая, есть игла
у молодого старого щегла,
чтобы заштопать старые кусты
для молодой высокой высоты,
чтобы светла, красна или темна —
вся наливалась в ягоды она
до капли.

* * *

Е.

Хорошо ты сидишь у окна,
значит — кто-то с другой стороны.
Ах, какая ворона видна.
Ух, какие стаканы видны.
У него на лице стрекоза —
у тебя на реснице слеза...
Ах, какие навстречу глаза.
Ах, какие навстречу глаза.

* * *

Е.

Стать золотым и нелюбимым
и умереть — и всё забыть.
Работать воздухом, и дымом,
и белой глиной. Глиной быть.
И пальцев ждать — с небесной тенью —
для лепки, ласки и труда
Того, кто выгладит смятенье
из благодати и стыда.

* * *

Не свет, а зрению подмога —
вон мухи белые летят.
Не свет — а взгляд огня и Бога.
Не свет, а взгляд.

Всему на свете одиноко —
вон, с ледяной тоской огня
и не мигая, с водостока, —
две капли смотрят на меня.

* * *

Е.

Твой бывший ангел у окна.
А говорят: весна, весна...
Последняя она.

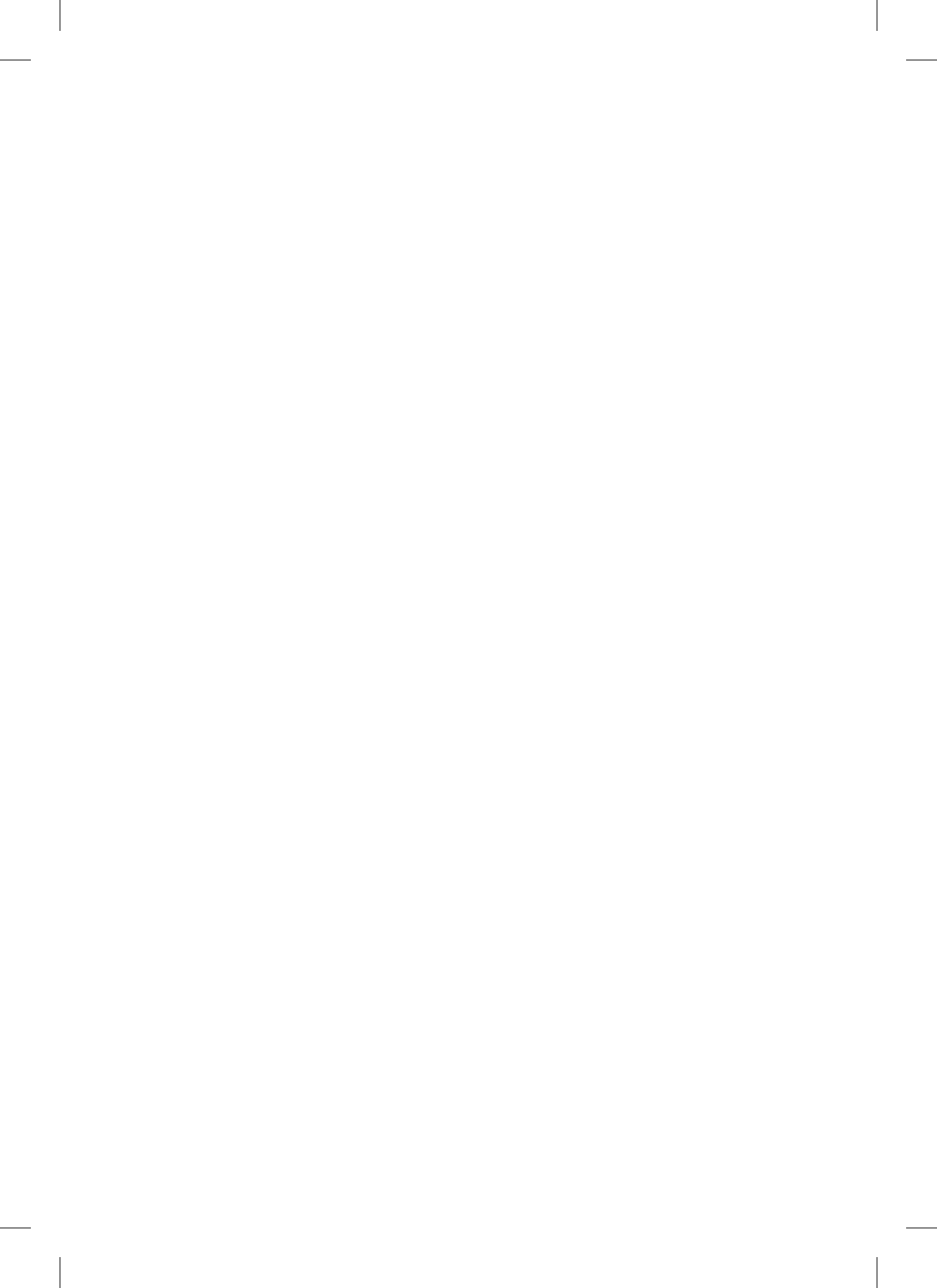
Слезою, как в щепоть, возьмёшь
чужого мира плоть и дрожь —
и горечь проморгнёшь.

Молчишь и держишь высоту,
как драхму кислую, во рту —
дышать невмоготу.

Твой бывший ангел вышел весь,
а ты окошко занавесь —
и станет пусто здесь.

* * *

Крикнуть себе вослед:
счастья на свете нет.
Если случится где-то —
значит, оно без света.
Меньше в огне огня
стало. Наполовину.
Вьлепи из меня
глину.



4. Новые элегии



* * *

Рыбы целуют изнанку
неба, накрывшего пруд.
Письма воды спозаранку
птицы с волной перечтут.
Кто это ходит и пишет
узкой стопой по воде,
лыбится, плачет и дышит
белой слезой в бороде...

Чтобы увидеть плотвичку —
кружев дыхательных дрожь,
ночью горящую спичку
прямо к воде поднесёшь.

* * *

Мёд золотой листвы выпит наполовину,
в дерево наливают с неба прозрачный дым,
выпитое пространство — вечности смотрит в спину,
видит берёзу, мёдом полную золотым.

Если не утирать слёзы, увидишь руки —
в пятнышках божьих кожа, белые рукава,
сыплющие сюда то тишину, то звуки,
помнящие щепоть, чтобы ловить слова.

Пальцы твои всегда пахнут медовой глиной,
воздуха воск зальют в горло — и тёплый звук,
если голосовой — ходит дорогой длинной,
если как поцелуй — то исчезает вдруг.

Сердце не надломить хлебом неучерствимым —
разве что надорвать, как золотой листок —
листик, листочек, лист, — вместе с прозрачным дымом:
осень тебя целует прямо в седой висок.

* * *

1.

Не с горя, нет, не с перепугу
ночь белоглазая бледна —
вдоль неба ливень гнал округу
и выпивал её до дна.
Там вечность слуху не помеха —
и влаги шум, и кровь твоя.
И выворачивалось эхо
в именованье бытия.

Когда ты шёл, не зная броду.
Когда вода упала в воду
с недвижимой скоростью сверла.
Когда Елена умерла.

2.

И снова Бог заплачет надо мной
я смерть свою к моей любви ревную
и высота срастётся с глубиной
в отчётливую линию прямую
и ливня повсеместная метла
густеет и растёт из водостока
и ангелу с метлою одиноко
Елена умерла.

* * *

Кто выдавит мне слёзы из-под век
в два кулака, в две радуги, в два горя,
в две горечи, в два малосольных моря
и в снег один-единственный, и в снег...

Под толщей влаги я уже плыву
в сиреневое с ультрафиолетом
и становлюсь то темению, то светом,
которым наливают синеву.

От слёз земли до будущих твоих,
где каменеют глиняные плечи,
лечу туда, где зажигают свечи,
или туда, где задувают их.

* * *

Кто мне веки горькие поднимет,
разлепив разлуки мёртвый мёд...
Дождь тебя, как дерево, обнимет,
ознобит, осиной назовёт.
Мёртвый дрозд — откуда он, откуда
утром, ниже неба, на крыльце...
Сколько в нём и ужаса, и чуда.
Сколько смерти в этом мертвце.
Всю забрал, большую, на рассвете.
И теперь в округе благодать.

У, какая горечь в сигарете,
то есть в жизни, я хотел сказать.

* * *

Словно бабочка шире окна,
или камушком думает печка.
Застрелилась моя тишина —
или треснула в небе дощечка.
Или звёзды стеснились в груди,
прямо в сердце — и кровь серебрится...

Только в небо моё не ходи,
слышишь, в небо моё не ходи,
просто в небо моё не ходи —
ты не ангел, не взгляд и не птица.

* * *

70

Кто-то вскрикнул: «Баба Настя!» —
где-то в небе, высоко.
Сыплет смутное ненастье
вкось сухое молоко.
Вязнет солнышко на хлебе.
Дождик к горлу подошёл...

Лишь бы тот, который в небе,
бабу Настю не нашёл.

* * *

То шмель пинается. То муха
Гомера вытянет из тьмы.
То тишина. То гибель слуха
в грядущем шорохе зимы.

Из леса, брошенная всеми,
осина вышла. И окрест
она стоит одна, как время.
Как крест пылающий. Как крест.

* * *

Сивый, больной, поддатый,
жизни на три копейки —
вот деревенский Данте
в валенках, в телогрейке,
в думах, в своей простуде,
вечно в обнимку с твердью:
ангелы — это люди,
переболевшие смертью.

* * *

Прошла гроза, хорошая гроза,
стремительно, как в радости — страданье,
переливая страшные глаза
из мирозданья в мирозданье.
Могучая таинственная связь
моей земли, эфира и озона —
как будто пашня в небо поднялась,
и облака — как призрак чернозема.
И в небесах увидишь мужика,
склонившегося над хрустальным плугом.
Сейчас он перепашет облака
и поперек, и вдоль, и полукругом.
И станет тесно между двух зеркал:
в одном — душа, в другом — душа и тело.
В одном я к жизни новой привыкал,
в другом она смеялась и болела.
Гроза идет, хорошая гроза,
и за руку сквозь свет ведет рябину,
переливая синие глаза
из глины в глину.

* * *

Чертополоху-чуду
хочется только взгляда.
Бог обитает всюду,
не выходя из сада,
в общем-то, из любого,
лишь бы была рябина,
чтобы большое слово
губы твои любило,
чтобы в стихотвореньи
высветилась слеза:
это, конечно, время
щиплет тебе глаза.

* * *

На расстоянье вытянутой — здесь —
руки, разлуки, памяти я весь
почти исчез. Так в дальнем разговоре
не слышно слов, но что-то шепчет море.
Как хорошо, что жизнь всего одна.
Большой реке в наклонном русле тесно:
отняв себя от глиняного дна,
она встает, как вечный дождь, отвесно
и льется вверх в мерцающую тьму
навстречу возвращенью своему.

* * *

Летишь и видишь сквозь крыло
косой распах озерной пашни,
где, как слеза, растет стекло,
крены колодезные башни.

Лопатой сладкого леща,
его веслом — какая лопасть, —
как плащаница, трепеща,
хрустальная двоится пропасть,
сквозит и ширится, пока
сама в себе не отразится,
как налетающая птица
в озябшем оке рыбака.

* * *

Перышко чье-то прилипло к порогу —
это с большого крыла.
Сад облетевший упал на дорогу,
все, что осталось, — метла.

Будет сподручно и ветру, и Богу
осень смахнуть со стола...

Время ворует себя понемногу —
так, чтобы вечность была.

* * *

Когда с фонариком рыбачишь,
ты как светило что-то значишь
и пирамиду глубины
ведешь вершиной от волны.
В ней рыбы долгие летают,
сухое золото глотают,
текущее из фонаря
в глухие норы октября.
Твердишь: Державин, Данте, Дратва,
а на мостках сидит ондатра
и, задержав глубокий вдох,
молчит и спрашивает: Бог?
А ты фонариком посветишь
куда-то вверх — и не ответишь.
Вздохнешь — и ангельскую дрожь
в разбитом сердце унесешь.

* * *

Еще до слова, до начала,
светясь без плоти и огня,
я слышал смерть — она молчала
и проходила сквозь меня.

И ослепительные ночи,
и утомительные дни
казались вечности короче,
но были вечностью они.

Вселенной головокруженье
пытаешься остановить,
чтобы молчать после рожденья
и после смерти говорить.

* * *

С.

75

Кто ягненка белого поставил на крыльцо?
Ах, у снега первого Господа лицо.
По утрам у Господа детское лицо.
Он ягненка белого поставил на крыльцо.

* * *

Это твоя зола
пальчиком провела —
пеплом неуловимым,
бывшим огнем и дымом, —
по кадыку, виску,
чтобы открыть тоску.

Пепел не взять в щепоть —
Полуистлела плоть,
словно без тьмы и света
выдохлась сигарета:
с неба мизинчик лег —
дерево не прожег.

Скатерть белым-бела:
как ты во мне росла,
глину мою рвала,
как ты меня сожгла —
знает твоя зола.

* * *

От поля в снежном перепахе
березам пятиться невмочь:
черны их белые рубахи,
когда они вступают в ночь.
Ты взглядом сам себя проводишь.
И пустота твоя светла...

Как хорошо ты в землюходишь,
чтобы она в тебя вошла.

* * *

Сначала тень — потом сорока,
и снова снега пустота.
И длится с северо-востока
очей хрустальная верста.

Не отведешь глаза от стужи —
так слезы твердые утри
морозу, спящему снаружи
или палящему внутри.

* * *

Вот-вот пройдет. Как больно. И во мраке
сквозь дым древесный ангелы видны.
Над крышами. В деревне. И собаки
хватают с неба шарики луны.

77

Вот и прошло. Как больно. И во мраке
поземки снежной веют ковыли,
чтоб женщина рыдала из собаки,
и дерево молчало из земли.

* * *

Взгляд пропадает где-то —
птицей мелькнет в окне,
полный иного света,
но не вернется, не
вспомнит слезу, и веко
красное, и тебя —
серого человека,
плачущего в себя.

* * *

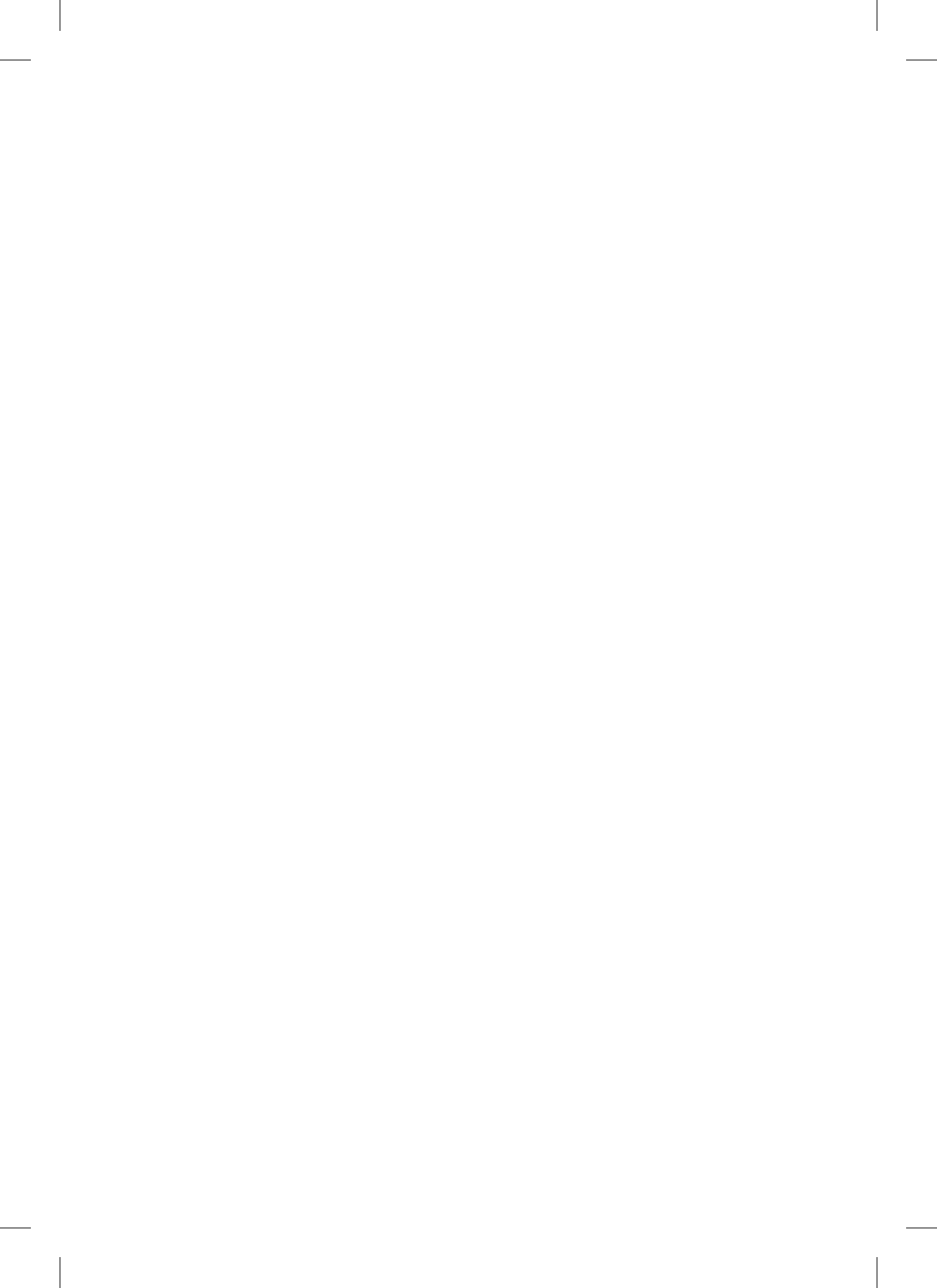
Две деревяшки, помнишь, и пружинку
разжав, как пасть, поставлю на простынку,
прижму ее к веревке вдоль земли,
к веревке без провиса и петли,
чтоб ангелы с собой не унесли.

78

* * *

Это утренняя птичка
расцвела и улетела.
Догорела в пальцах спичка —
золотая — почернела.
Поцелуй целуешь царский, —
шарик божьего ожога.
И в оконный крест татарский
упирается дорога.

5. Из других книг



* * *

Дождь отрада, дождь отрава.
В луже корчится окно.
Заболело сердце справа,
значит, все же есть оно...

Просто снегу было мало,
а теперь совсем темно...
И до самого вокзала
светит позднее окно.

* * *

Какой ночлег — под музыку ведра!
Кругом роса от завтрашнего зноя.
И небо вылетает из костра —
игрушечное, звездное, ночное...

И спит дитя, а утром был мужик.
И — девочка с седыми волосами.
И вдоль теченья бегают кулик
с заплаканными детскими глазами.

* * *

Все позади — судьба и лебеда;
и старый Бог, помянутый не всуе,
когда сойдемся тесно, навсегда,
зубами чокаясь при поцелуе...

Солоноватый привкус бытия,
и на кусте качается пилотка.
И в толчее густого комарья
играет на волне пустая лодка...

* * *

А. Субботину

Как выпал снег, так пишется о снеге.
Так часто о любимом человеке
не говорят, как говорят о снеге.

А за окном такая благодать,
что страшно слово лишнее сказать:
мальчишки увязают, и собаки
не могут пухлый двор перебежать.

И строки эти вязнут на бумаге.
И страшно слово лишнее сказать.

* * *

На ветер засмотрюсь, на сад, бегущий скопом,
где осень в листопад оглаживает дом.
В эпоху между пеклом и потопом
мы хорошо, душа моя, живем

С утра скрипит от инея фрамуга —
и дышит чернозем, подножный лед круша.
А ровно в полдень к нам погода с юга
придет — и улыбается душа.

И дочь моя легко поет и горько плачет.
И мать моя несет развешивать белье.
И в пять минут меня любовь переиначит
на времена безмерные ее.

Теперь не уступлю ни пеклу, ни потопу
моей души рабочий монастырь,
мой азиатский дом с воротами в Европу
и огород с простором на Сибирь.

83

* * *

Я прижался к тебе — и земля побелела,
потому что я скоро отсюда уйду.
И на кладбище глина моя занемела,
и для саженцев ямы готовы в саду.

Я уйду, и другому расскажет вдова,
как я не отличил плоскодонку от гроба...

А в Сибири росли даровые дрова,
и глядела в Сибирь голубая Европа.
И сороку трепал перебор поговорок,
и потели грибы в моховую кошму.

Над рекой от росы зачесался пригорок,
и поэтому я пробежал по нему.

* * *

В этом доме был вчера покойник.
Окна — настезь. Комнаты пусты.
Сядет воробей на подоконник.
Дедушка посмотрит с высоты.

Бабушка развесила бельишко.
Парится картошка в чугушке.
Спит в саду зареванный мальчишка
с яблоком надкушенным в руке.

Видит он: на кладбище копают,
старики заглядывают в сад.
Слишком высоко они летают —
мальчики туда не долетят.

* * *

Приедешь из города — хлеб привезешь.
Картошку почистит на ужин поселок.
Гуляет по радио хор комсомолок.
И окна бросает в стеклянную дрожь.

Но вечером ты от любви не умрешь,
а смену белья пронесешь огородом,
где сивый Урал припадает к воротам
и ветхий парник на автобус похож.

Ты, голая, выйдешь из бани на снег —
и ночь наполняется ветром и взглядом,
когда, как совсем молодой человек,
морозец огладит тебя снегопадом.

А утром, когда повторяют кино,
ты прямо на юг разведешь занавески.
До моря опять далеко и темно:
дорога, забор и шлагбаум в черкеске.

* * *

Мой дед не умер потому,
что было страшно одному.

Вернулся я, и утром мы
взошли на ближние холмы.

Я ничего не говорил,
чтоб не заплакать — закурил.

А он на корточках сидел
и белый хлеб с газеты ел.

Покушал, выдохнул — живу!
И руки вытер о траву.

* * *

85

У ласточки две родины. Она
из дома в дом всерьез перелетает.
На родине смертельный снег растает,
и родина за морем не видна.

Полет диктует праведная кровь,
и родина от родины — далече,
и не напрасно оперились плечи,
и все на свете — голод и любовь.

И есть для глины с окнами речными
строительная сладкая слюна.
Две родины, и море между ними,
две родины — и ласточка. Одна.

* * *

Ночью проснусь и заплачу.
Сладко, легко и тепло
лето прошло наудачу.
Может быть, счастье прошло.

Все перед снегом светлеет,
ширится, смотрит в окно.
Бабушка спит и болеет,
ей тяжело и темно.

Вытащу из-под подушки,
чтобы от слез не промок,
царский, как шкурка лягушки,
красный кленовый листок.

Знают ли твердые реки
детский зимующий страх:
как засыпают навеки,
как засыпают в слезах?

* * *

До свиданья навсегда.
На щеке твоей вода.

Постояли и простились —
как на осень помолились.
Лес подумать не успел:
разошлись — и опустел...

Ты идешь домой, как пьяный.
Ветер вывернул карманы.
Кто по ягоды пойдет —
три копейки найдет.

ЗАМОРОЗКИ

Там, где к теплу пробирался любовник,
в грядках круша золотую слюду,—
в десять рядов перекроет крыжовник
зону запретную в голом саду.

С кем ты была напоследок, погода,
кто тебе ночью в подмышку дышал?
Видишь, земля опустела у входа
в тысячелетний семейный скандал.

Мерзлой травы звероватая шерстка
ноги натрет — и от слез не поймешь,
как в темноте открывается фортка
теплым нутром в окаянную дрожь.

Спи, говорю. Ты всю ночь улыбалась.
Ревность мою обложили поля.
Будто погода во сне проболталась —
и от любви побелела земля...

87

* * *

Внесла лубяное белье —
на улице похолодало.
А холоду все-таки мало
на вечное время мое.

Тоска раскидала тряпье —
до смерти меня целовала.
А как мне любви не хватало
на грешное время мое.

С вокзала кричит воронье —
по крику дойдем до вокзала.
На горле платок завязала —
кончается время мое.

* * *

И. Б.

Не божий промысел — подачка;
и ожиданья Страшный суд.
Посадка. Поезда раскачка.
Белье казенное несут.

А был в буфетах желтый чай,
и — толчая на свет баранья.
Но оглушило — до свиданья,
и еле слышится — прощай.

И Данте празднует отъезд,
и светофоры гуще сада.
И на вокзале Книга Ада
в один читается присест.

88

* * *

Кажет шмель золотые подмышки
и бросается под сапоги:
над поляной, без дна и покрывки,
до сих пор остаются круги.

Сколько в воздухе дыр и отметин —
можно в небо смотреть поутру.
Я у мамы красив и бессмертен,
если раньше ее не умру.

Норовистый, как свет и погода,
я иду, спотыкаясь, на свет.
И тебя дожидаюсь у входа
в этой жизни, где выхода нет.

* * *

Приближается время творца —
пожилого мужчины.
Две морщины с живого лица
провели по дорогам машины.

И нательных листочков возня,
и весна из детей и озноба...

Наконец-то согреюсь до гроба —
и погода не бросит меня.
Это оттепель — до Колымы,
пробежав по этапу акаций,
от заплечной сумы да тюрьмы
научила меня зарекаться.
Белый сад — словно банный дворец,
где теплиц голубые обмылки...

А вокруг закипает скворец
с холодком на затылке...

* * *

Воскресенье. Выпал снег
По следам, чернее боли,
видно, как в трамвайном поле
заблудился человек.

Ляжет первый — лежебок —
малосольный, полуетний.
Не растаял бы... Дай Бог,
чтоб, как рюмка, не последний

Сыплет вкось, исподтишка —
ангел, снежная щекотка.
И у девочки бородка
не растаяла пока.

* * *

Ю. Казакову

Я чувствовал, когда на мушку
меня, стреноженного, брали.
И — алюминиевую кружку
срывал с цепочкой на вокзале.

Кончалась водка. Поезд вышел,
солдат по тамбурам качая.
Я даже выстрела не слышал
за колокольчиками чая.

Как после сечи, лес валился —
в лицо — от скорости — навстречу.
А мой вагон остановился —
и семафор плеснул на плечи.

Когда ты мертв, ты больше значишь
в глухой российской тишине,
где наяву ты горько плачешь
и улыбаешься во сне.

* * *

Красный ястреб, жизнь у нас одна.
Далеко до космоса и Бога
в небе между морем и дорогой —
слышно, что железная она.

Режешь ты круги свои плеча.
Знаю я твою повадку птичью:
долго ты влюбляешься в добычу,
вместе с тенью волны волоча.

Поезд прошумит, тебе мешая...
Знаешь, ястреб, жизнь у нас большая:
скоро станешь морем и травой,
красный ястреб с белой головой.

* * *

Любил бы тебя, да морозная сила
по ветру меня загоняла в кино:
в такую погоду глаза уносило,
что в зале до крика бывало темно.

Я вышел на волю из черного хода.
А жизнь убывала, и слышалось мне,
как снег вырывал каблуки у народа —
и скрип лесопилки гулял по стране.

Потрогал трамвай — он дрожал под рукою,
в два рельса, в два горла гремел на ходу.
И город очнулся уже за рекою
деревнею — навзничь — в сибирском саду.

Где в беловолосую рябь кинолент
на слово «любовь» открываются губы.
И в ласточкин хвост упираются срубы
коричневых бань, заглотивших Ташкент.

91

* * *

В том месте, где душа
донашивает тело,
ни хлеба, ни гроша,
ни Бога, ни предела.

Вся кость пошла на крест —
крестец апрельской плоти,
и высаятся окрест
дожди в мужской работе.

Не ливень, а нахрап —
по яблочко в колодец.
На свете столько баб
с глазами богородиц.

Отнимешь от земли
такую росомаху —
и тихо до петли
на сердце рвешь рубаху.

* * *

Ночью шлепал босыми ногами.
На восток улетало окно.
Где по городу-году кругами
умирающих водит вино.

Точит очи зимы рукоделье,
сладкой ревности, дрожи, обид.
В полыханье любви и похмелья
мотыльками я перенабит.

И лечу, в черноту упираясь,
и стою в переулке глухом —
и, как ангел в слезах, утираюсь
залетевшим из жизни стихом.

92

* * *

Л. и М. Чупряковым

Пасмурный день. Средиземная скука.
На подоконнике птичьи значки.
Смотришь на мир, как в слезах, близоруко,
будто с окошка сорвали очки.

Будто бы в шубах дерев очертанья.
Холод в июне берет на испуг.
И на вокзале орда чемоданья
кровельный поезд толкает на юг.

Светом полна слепота человечья.
Белый ягненок бодает кошму.
Знаешь, у всех заломило предплечье
в греческом русском татарском Крыму.

Крым набекрень. Там кремнистые страны.
Там, напоровшись на катер, туман
вывернул к черту бараньи карманы
и показал мировой океан.

* * *

М. Чупряковой

Спи на Рождественском лугу
крестом безруким, как во гробе.
Я больше видеть не могу
Сибирь, убитую в сугробе.

На песни с Богом — ни гугу
в краю, где Бог тебя не слышит,
а жизнь и любитя, и дышит
теплее женщины в снегу.

ШМЕЛЬ

Л.

Я на руке несу шмеля —
о полосатая земля.

Скажите Богу и шмелю,
как я в июне жить люблю

Как я одну ее любил —
и убивался, и шмелил,

на рукаве неся шмеля,
как горы носят Шамяля.

* * *

Л. Бабенко

Сибирь прилипла к сапогу,
и я подумать не могу,
где и с какого краю
я по ночам летаю.

Но, как во сне, глаза открыв,
я вижу поле и обрыв,
где путают ресницы
то слезы, то синицы.

Я за дождем во всю длину
в чужое небо загляну,
не делая ни шагу
к проклятому оврагу.

А хорошо на высоте
болтать ногами в пустоте,
как ангелы болтают,
когда они летают.

* * *

А. Житкову

С востока сдвинулась душа
на рубчик царского гроша —
вот-вот покатится по полю
на продуваемую волю.

Где в небе город как подвал,
где я с твоей душой бывал,
худую осень коротая:
она, как Пушкин, золотая.

Где вся листва у тополей —
как сотня пропитых рублей.

* * *

Во мне побывали Париж и Москва,
но пахнет Сибирью моя голова,
как пахнет трава у порога
ногами прохожего Бога.

* * *

Как две свечи — надбровья
смеркаются во лбу.
Текут зимы низовья
в февральскую трубу.

А в поле Пушкин мнится,
где сочиняет снег
да жмурится волчица —
хороший человек.

* * *

У рыбы круглые следы,
как будто Бог идет по водам
и осеняет небосводом
собрание утренней воды.

Где ивы зябкое вязанье
низводит в нитку — наутек —
вялотекущее касанье,
скольжение лодки с локоток.

Пространство юное — без кожи,
в слезах, у солнца на краю,
где все — из голоса и дрожи,
как полагается в раю.

96

* * *

Стрекоза на седьмом этаже,
словно капля дождя на ноже,
словно чеховское — в стороне —
выше смерти порхает пенсне
тридевятое лето подряд.

И глаза от России болят.

* * *

А. Бастрикову

У зимы слишком белый платок:
он раскинут —
и это Восток.

* * *

Озябли Божьи ноги,
и мается поныне
душа в подкожной глине,
а глина на дороге.
А глина на дороге —
и тянет прямиком
туда, откуда боги
приходят босиком.

* * *

Л. Бабенко

Я писарь твой, Господь,
я поводырь глагола.
Суха моя щепоть
в эпоху недосола.

Крепка на полный крест
и чистое писанье,
пока у здешних мест
не звук — а расстоянье.

Не взгляд — а Млечный мост,
горизонталь монгола,
где шире сущих звезд
спряжение глагола.

98

* * *

Какое головокруженье —
апрель по брови.
Левостороннее движенье
любви и крови.

Тоска и музыка — скольженье
плакучей тверди.
Одностороннее движенье
любви и смерти.

* * *

Снегопад. Сибирь, однако.
Глубоко теперь земля.
Под окном печет собака
каменные кренделя.

Око мерзнет в провороте.
Сохнет скрипка в башмаке.
Хорошо плашмя в полете
плющить слезы на щеке.

Подоконник любят дети —
кубик света с утраца —
потому что нынче сети
упустили мертвеца.
С бакенбардою лохматой,
с круглой пулей под живот.

Это снег. Его лопатой
только Пушкин приберет.

* * *

Пахнет красным желтый донник,
если слово пить до дна.
Если поле — подоконник,
подоконник без окна.

Дождик, дождик, ящик тесный,
отвори в последний раз
без ножа разрез небесный
противоположных глаз.

* * *

Зеркала осколок
к фортке поднесу —
первых звезд поселок
дышит на весу.

Свет находит тело —
слабое жильё.

Вот и запотело
зеркальце мое.

* * *

Это хруст каблука, вывих твердого знака:
подморозит — и в гипсе худеет тропа.
Так звучит пустота, и последнего мака
оглушительно трутся — толпой — черепа.

Полуголос. Озноб. Размноженье согласных —
шепелявость и свист, говоренье ползком.
Словно змеи и птицы — в соитиях красных —
мчат соль альвеол не твоим языком.

Это сыплет зрачком неродившийся опий —
черной маковкой — вслед дальнотворкой игле.
И, промерзнув до дна, лужи крепче надгробий
прижимают себя к уходящей земле.

Это хвойных лесов столбовое дворянство.
Это холода храм с петушиным коньком,
Где высокому звуку не хватит пространства,
если время и смысл совпадут целиком.

* * *

М. Никулиной

Мужских очей объятье
с тобой — в тоске квадрата:
минутное распятые,
прикус чужого взгляда.

Не проиграть в молчанку
тебя с тобой в обнимку —
внучатую гречанку —
косому фотоснимку.

На фоне парового
в Тагиле отопленья,
где только ты и слово
в порыве говоренья.

Где вечно полвторого —
зима, разлука — время
Когда целуют слово
и в родничок, и в темя, —

озябшую царицу
но весь обратный путь
в рогожу роговицы
пытаясь завернуть.

* * *

Е. Зашихину

Бродяга с бабочкой во рту
(какая ночь — она живая)
изображает немоту
битком набитого трамвая.

В пространстве съеденных зубов,
где нёбо выше небосвода,
произношение первых слов —
и ослепление, и свобода.

Свобода — выдох, а не вдох,
в доме двойной переполох —
осипшей бабочки смятение,
когда всему дарует Бог
земную муку говоренья.

102

* * *

В невозможной тишине,
прошибая кровлю,
долгий дождь шумит во мне,
сталкиваясь с кровью.

Вечно я плашмя лечу —
никакой отныне.
Это только по плечу
воздуху и глине.

* * *

Скошены пчелы, пропали поля,
срезаны с веток шмели,
прямо под снегом земля
вся состоит из земли,

словно душа после нас — из того,
что остается от мук:
не синева, а во сне — вещество,
переходящее в звук.

* * *

Думать, думать, думать
о тебе — в окно,
в пепельницу дунуть —
все равно темно,

пасмурно и сыро:
дождь иль человек
в этой части мира
переходит в снег..

Так лицом к потоку —
мыслящая смесь —
Азия в Европу
промерзает здесь.

И окрест роится
силою ума
бедная водица,
белая зима.

* * *

Лампу выкручу-вкручу —
звук пустой и нежный.
Что-то хлопнет по плечу
в темноте кромешной.

Ничего в сковороде,
кран поет разлуку,
наклоняешься к воде
почеломкать руку.

В тишине такой, малыш,
ничего не значишь,
даже если говоришь
или просто плачешь...

104

* * *

Я поплачу над фильмом плохим:
еще с прежней женою
я в кино отправлялся бухим —
за чекушку, с тоской ледяною
погибал под Феллини. Взашей
удалялся, скотина-скотиной.
Я и сам был талантливейшей
безбюджетной картиной.
Обрывался, как заяц — скачок:
на щеке пропечатался прутик.
Собиратель пространства — зрачок —
мне, как смерть, эту ленту прокрутит
через двадцать беспамятных лет,
где меня уже нет —
между словом последним и делом,
в этом фильме — то черном, то белом.

* * *

Всю ночь волнистое стекло
по вертикали вверх текло
не сном, не отраженьем —
а головокруженьем.

Повсюду дождь искал меня,
и я не зажигал огня,
чтоб темноты не видеть
и неба не обидеть.

Я понимал, что не стекло,
не дождь, а зеркало текло
из памяти — наружу,
выматывая душу.

И не увидишь из окна,
как спит спиной ко мне страна —
чуть теплая, большая,
дождя не нарушая.

105

* * *

Сердце сжимается, гибнет звезда,
светит себе после смерти вдогонку.
Сердце сжимается — это вода
входит в воронку
и расширяется, как вещество
боли и счастья с тоской внутривенной
муки и радости, в общем — того,
что остается от нас во вселенной.

* * *

А. Б.

Три вороны на север летят,
а одна повернула на юг.
Пустота — это взгляд,
он повсюду, мой друг.
Может, так после смерти глядят.
Наливай-ка полнее, мой друг —
все вороны на север летят,
а одна, слава Богу, на юг.

* * *

Смерть на продавленном диване,
в резине крепкие персты.
Так обретают христиане
большое зренье темноты.

И чудо выдоха и вдоха —
черемуха и черемша —
уже не воздух без подвоха,
еще не мука и душа,

пока несут тебя, как глину,
два белокрылых мужика
на нежилую половину,
куда не ходят облака.

* * *

Я ничего у тебя не прошу –
нехорошо перед самой разлукой.
Сердце сжимается – так и ношу
этот кулак между миром и мукой.

Дождь сокрушается небом седьмым –
нижнее небо стоит снегопадом:
чувствуешь, кто-то шатается рядом –
зрячим, ласкающим, глухонемым,
музыкой, смерзшейся в дерево, в дым,
остановившимся выдохом, взглядом,
воротником, рукавицей, подкладом,
стеганным голосом голым моим...

* * *

Косноязычные с мороза,
дохнув теплее паровоза,
три, нет, четыре мужика
стакан от остеохондроза
по старшинству, на два глотка,
по кругу пустят, и слегка
один из них отрежет хлеба
от хлеба, круглого, как небо,
косноязычен и нелеп,
хотя и мог отрезать неба
от неба, круглого, как хлеб.

* * *

Волк — в клетке
на требухе и воде.
Где твои детки,
волчица где?
Кто это рядом? —
Я до сих пор стою,
встречным взглядом
вкопанный на краю
двух клеток —
этой и остальной.
Глухонемой трехлеток
с крыльями за спиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Из первой книги.	9
«Ворохнётся в окне ветка...»	11
«Неба всё больше, мало...»	11
«На читку воздуха едва ли...»	12
«В пепельнице окурок...»	12
«Отвернувшись к стене...»	13
«Глазам хватает неба и земли...»	13
«Утки летят на восток...»	14
«Дурачок, дурачок...»	14
«Сухая гроза — что в завязке алкаш...»	15
«Птицы — в прошлое, в лето, на юг...»	15
«Деревня дымом в смерть захала...»	16
«О, Господи, не умирай...»	16
«Чтобы вырезать дудку из ветки в лесу...»	17
«Уже зима вбивает в землю гвозди...»	17
«Взгляд остановлен птицей...»	18
«Сорока на столбе...»	18
«У куницы...»	19
«Деревня пустила...»	19
«Проснёшься ночью — света нет...»	20
«Почти отмучившись, отмучив...»	20
«Земное притяжение с ума...»	21
«Ты легко поднимешь руку...»	21
«Собака плавает в пруду...»	22
«Поговоришь с водой...»	22
«Режет глаза в окошке...»	23
«Как долго лошадь пьёт из лужи...»	23
«Уши, особенно мочки...»	24
«Трава сказала — умираю...»	24
«А смерть осиною...»	25
«В воду врастают ноги...»	25
«Волынки плач овцы. Грамматика двойная...»	26
«Всё больше интонации, тумана...»	26
«Шёпотом дождь поёт. Значит, вот-вот зурна...»	27
«Снег в форме машины едет издалека...»	27
«Ты откуда, сигаретный...»	28
«Поздняя осень. В пейзаже...»	28
«Упираясь лбом в звезду...»	29

«Ты знаешь изначально...»	29
«Ангелы легче снега...»	29
«Пуговицу смахнуло...»	30
«Что наши мысли? — бред природы...»	31
«Воробьи склевали пайку...»	31
«От неба, и огня, и от воды глубокой...»	32

2. Из второй книги. 33

«Сколько времени там на весле...»	35
«Пахнет ладонь сосной...»	35
«Кто-то в печной трубе...»	36
«Меж безднами двумя...»	36
«Запомнишь ли — не мысль, не звук...»	37
«Кто-то спросил: — Ну, как...»	37
«Переведи меня...»	38
«Дождик чует наготу...»	38
«Плачет коза, поднимаясь в горку...»	39
«Ходит музыка по коже...»	39
«Эта собака не для езды...»	40
«Позолоченная стружка...»	40
«Эти пальцы, веки эти...»	41
«Медленно, медленно ваза...»	41
«Что-то ещё я хотел... Никак...»	42
«Зима в деревне холоднее...»	42
«Мороз пронизаем и розов...»	43
«В морозы горький свет: в деревне пахнет дымом...»	44
«Погладил печь — спадает жар...»	45
«В полуслезах, в полубреду...»	45
«Убивал. Великолепил...»	46
«Ищу тебя. Иду по краю...»	46
«Курю в больничном туалете...»	47
«Ангел плюнет в потолок...»	47
«Мышка больничная, жизнью шурша...»	47
«Когда я умер, стало мне...»	48
«Прощай. Что было — не прошло...»	48

3. Из третьей книги. 49

«Я знаю эту дрожь...»	51
«Где-то глаза кочуют...»	51
«Где очень больно, там светло...»	52
«В стену горох, в стену горох...»	52
«Стукнет с небес дубинка...»	53
«Сад напросился в дом...»	53

«К вечеру, пустившему слону...»	54
«Всюду Господа белые брови...»	54
«Ходит шатун-трава...»	55
«Плачет кулик, плачет кулик...»	55
«Птичка серая скажет мне...»	56
«Так пасмурно, что нету небосклона...»	56
«Нежнее иinea в зверином ухе...»	57
«Маленький человек...»	57
«Буду водой стоять...»	58
«Ты в воду посмотришь — потом из воды...»	58
«Живой и мёртвый, с вечностью во рту...»	59
«Под крышкой пусто. Нет, под нею...»	59
«Зимы короткий век...»	60
«Есть нитка золотая, есть игла...»	60
«Хорошо ты сидишь у окна...»	61
«Стать золотым и нелюбимым...»	61
«Не свет, а зрению подмога...»	62
«Твой бывший ангел у окна...»	62
«Крикнуть себе вослед...»	63

4. Новые элегии 65

«Рыбы целуют изнанку...»	67
«Мёд золотой листвы вышит наполовину...»	67
«Не с горя, нет, не с перепугу...»	68
«И снова Бог заплачет надо мной...»	68
«Кто выдавит мне слёзы из-под век...»	69
«Кто мне веки горькие поднимет...»	69
«Словно бабочка шире окна...»	70
«Кто-то вскрикнул: “Баба Настя”...»	70
«То шмель пинается. То муха...»	71
«Сивый, больной, поддатый...»	71
«Прошла гроза, хорошая гроза...»	72
«Чертополоху-чуду...»	72
«На расстояние вытянутой — здесь...»	73
«Летишь и видишь сквозь крыло...»	73
«Перышко чье-то прилипло к порогу...»	74
«Когда с фонариком рыбачишь...»	74
«Еще до слова, до начала...»	75
«Кто ягненка белого поставил на крыльцо...»	75
«Это твоя зола...»	76
«От поля в снежном перепахе...»	76
«Сначала тень — потом сорока...»	77

«Вот-вот пройдет. Как больно. И во мраке...»	77
«Взгляд пропадает где-то...»	78
«Две деревяшки, помнишь, и пружинку...»	78
«Это утренняя птичка...»	78

5. Из других книг 79

«Дождь отрада, дождь отрава...»	81
«Какой ночлег — под музыку ведра!...»	81
«Все позади — судьба и лебеда...»	82
«Как выпал снег, так пишется о снеге...»	82
«На ветер засмотрюсь, на сад, бегущий скопом...»	83
«Я прижался к тебе — и земля побелела...»	83
«В этом доме был вчера покойник...»	84
«Приедешь из города — хлеб привезешь...»	84
«Мой дед не умер потому...»	85
«У ласточки две родины. Она...»	85
«Ночью проснусь и заплачу...»	86
«До свиданья навсегда...»	86
Заморозки	87
«Внесла лубяное белье...»	87
«Не божий промысел — подачка...»	88
«Кажет шмель золотые подмышки...»	88
«Приближается время творца...»	89
«Воскресенье. Выпал снег...»	89
«Я чувствовал, когда на мушку...»	90
«Красный ястреб, жизнь у нас одна...»	90
«Любил бы тебя, да морозная сила...»	91
«В том месте, где душа...»	91
«Ночью шлепал босыми ногами...»	92
«Пасмурный день. Средиземная скука...»	92
«Спи на Рождественском лугу...»	93
Шмель	93
«Сибирь прилипла к сапогу...»	94
«С востока сдвинулась душа...»	94
«Во мне побывали Париж и Москва...»	95
«Как две свечи — надбровья...»	95
«У рыбы круглые следы...»	96
«Стрекоза на седьмом этаже...»	96
«У зимы слишком белый платок...»	97
«Озябли Божьи ноги...»	97
«Я писарь твой, Господь...»	98
«Какое головокруженье...»	98

«Снегопад. Сибирь, однако...»	99
«Пахнет красным желтый донник...»	99
«Зеркала осколок...»	100
«Это хруст каблука, вывих твердого знака...»	100
«Мужских очей объятье...»	101
«Бродяга с бабочкой во рту...»	102
«В невозможной тишине...»	102
«Скошены пчелы, пропали поля...»	103
«Думать, думать, думать...»	103
«Лампу выкручу-вкручу...»	104
«Я поплачу над фильмом плохим...»	104
«Всю ночь волнистое стекло...»	105
«Сердце сжимается, гибнет звезда...»	105
«Три вороны на север летят...»	106
«Смерть на продавленном диване...»	106
«Я ничего у тебя не прошу...»	107
«Косноязычные с мороза...»	107
«Волк — в клетке...»	108

Книги «Русского Гулливера»

- Игорь Алексеев «Как умирают слоны»
Олег Асиновский «Плавание»
Георгий Балл «Круги и треугольники»
Анатолий Барзах «Причастие прошедшего зренья»
Александр Верников «Побег воли»
Валерий Вотрин «Жалитвослов»
Игорь Вишневецкий «На запад солнца»
Марианна Гейде «Бальзаминовы выжидают»
Александр Давыдов «Три шага к себе»
Галина Ермошина «Оклик небывшего времени»
Иван Жданов «Воздух и Ветер»
Зиновий Зиник «Письма с третьего берега»
Александр Иличевский «Бутылка Клейна»
Юлия Кокошко «Шествовать. Прихватить рог...»
«Комментарии» № 28 (памяти Парщикова)
Илья Кутик «Эпос»
Павел Лемберский «Уникальный случай»
Марнарита Меклина «Моя преступная связь с искусством»
Алексей Парщиков «Ангары»
Константин Поповский «Следствие по делу о смерти принца Г.»
Александр Скидан «Расторжение»
Андрей Тавров «Парусник Ахилл»
Александр Уланов «Между мы»
Эдвард Фостер «Кодекс Запада. Битники. Стихотворения»
Борис Херсонский «Вне ограды»
Валерий Шубинский «Золотой век»
Татьяна Щербина «Исповедь шпиона»
- Владимир Алейников «Поднимись на крыльцо»
Анна Аркатова «Знаки препинания»
Сухбат Афлатуни «Пейзаж с отрезанным ухом»
Алексей Афонин «Очень страшное кино»
Андрей Бауман «Тысячелетник»
Сергей Бирюков «ПОЭЗИС»
Игорь Богданов «Федоров в кино»
Игорь Булатовский «Стихи на время»
Елизавета Васильева «Настала белая птица»
Игорь Вишневецкий «Первоснежье»
Герман Власов «Музыка по проводам»
Владимир Гандельсман «Ода одуванчику»
Алла Горбунова «Колодезное вино»
Дмитрий Григорьев «Другой фотограф»
Лидия Григорьева «Сновидение в саду»
Андрей Грицман «Голоса ветра»
Владимир Губайловский «Судьба человека»
Дмитрий Драгилёв «Все приметы любви»
Игорь Жуков «Готфрид Бульонский. Книга стихов»
Аркадий Застырец «Онейрокритикон»

Валерий Земских «Кажется не равно»
Валерий Земских «Неразборчиво»
Лина Иванова (Полина Андрукович) «В море одна волна»
Антонина Калинина «Бересклет»
Константин Кравцов «Аварийное освещение»
Сергей Круглов «Народные песни»
Илья Кучеров «Стихотворения»
Елена Лапшина «Всякое дыхание»
Константин Латыфич «Человек в интерьере»
Константин Латыфич «Равноденствие»
Анатолий Ливри «Посмертная публикация»
Ольга Мартынова «О Введенском, о Чвирикe и Чвирке»
Зоя Межирова «Часы Замоскоречья»
Вадим Месяц «Безумный рыбак»
Арсен Мирзаев «Дерево времени»
Надежда Муравьева «Саргены»
Вадим Муратханов «Ветвящееся лето»
Канат Омар «Каблограмма»
Юрий Орлицкий «Верлибры и иное»
Алексей Остудин «Эффект красных глаз»
Константин Рубахин «Самовывоз»
Ры Никонова «Слушайте ушами»
Александр Самарцев «Части речи»
Екатерина Симонова «Сад со льдом»
Дмитрий Силкан «Всенощные бдения Фауста»
Сергей Соколкин «Я жду вас потом»
Юрий Соловьев «Убежище»
Александр Стесин «Часы приёма»
Дмитрий Строцев «Бутылки света»
Сергей Строкань «Корнями вверх»
Андрей Тавров «Зима Ахашвероша»
Андрей Тавров «Часослов Ахашвероша»
Фотис Тебризи «Черное солнце эросов»
К.С. Фарай «Поющий Минотавр»
Людмила Херсонская «Все свои»
Людмила Ходынская «Маскарад близнецов»
Наталья Черных «Камена»
Наталья Черных. «Похвала бессоннице»
Феликс Чечик «Алтын»
Марк Шатуновский «Сверхмотивация»
Алексей Шепелёв «Сахар: сладкое стекло»
Аркадий Штыпель «Вот слова»

Ирина Роднянская «Мысли о поэзии в нулевые годы»
Андрей Тавров «Письма о поэзии»
Вадим Месяц «Поэзия действия»
Зинаида Миркина «Избранные эссе»

Литературно-художественное издание

Юрий Казарин

КАМЕНСКИЕ ЭЛЕГИИ

Изборник

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

Руководитель проекта Вадим Месяц

Главный редактор серии Андрей Тавров

Оригинал-макет и верстка: Валерий Земских

Фото на обложке Ю. Тишковой

Издательство «Русский Гулливер»

Тел. +7 (495) 159-00-59

E-mail: russian_gulliver@mail.ru

<http://www.gulliverus.ru/>

По поводу покупки книг звонить:

+7 (905) 575-41-03

Подписано в печать 20.05.2012

Формат 140×200

Гарнитура NewBaskervilleC

Тираж 300 экз.

Заказ №

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии "Малахит"
620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81 б